ДЕНЬ БЕЗ ВРАНЬЯ

Сегодня ночью мне приснилась радуга. Я стоял над озером, радуга отражалась в воде, и получалось, что я между двух радуг — вверху и внизу. Было ощущение счастья, такого полного, которое может прийти только во сне и никогда не бывает на самом деле. На самом деле обязательно чего-нибудь недостает.

Я проснулся, казалось, именно от этого счастья, но, взглянув на часы, понял: проснулся еще и оттого, что проспал.

Скинув ноги с кровати, сел, прикидывая в уме, сколько времени осталось до начала урока и сколько мне надо для того, чтобы собраться и доехать до школы.

Если я прямо сейчас, босой, в одних трусах, побегу на троллейбусную остановку, то опоздаю только на полторы минуты. Если же начну надевать брюки, чистить зубы и завтракать, то после этого уже можно никуда не торопиться, а сесть и написать заявление об уходе.

Меня позвали к телефону. Это звонила Нина. Разговаривала она со мной так, будто она премьер-министр, а я по-прежнему учитель французского языка средней школы.

Сдерживая благородный гнев, Нина спросила, приду я вечером или нет. Я сказал: постараюсь, хотя знал, что не приду.

Вернувшись в комнату, я подумал, что последнее время вру слишком часто — когда надо и когда не надо, — чаще всего по мелочам, а это плохой признак. Значит, я не свободен, значит, кого-то боюсь — врут тогда, когда боятся.

Я надел брюки и решил, что сегодня никого бояться не буду.

Троллейбус был почти пуст, только возле кассы сидела женщина и читала газету. Она держала газету так близко к глазам, что казалось, будто прячет за ней лицо.

В десять часов утра мало кто ездит. Рабочие и служащие давно работают и служат, а те, кто не работает и не служит, в это время

не торопясь одеваются, чистят зубы и завтракают. Для них десять часов рано.

Для меня десять часов поздно, потому что через двадцать минут я должен начать урок в пятом «Б».

Я преподаю французский язык с нагрузкой двадцать четыре часа в неделю. Я бы с удовольствием работал двадцать четыре часа в год, но тогда моя годовая зарплата равнялась бы недельной.

Когда-то я хотел учиться в Литературном институте, на отделении художественного перевода, но меня туда не приняли. Окончив иняз, хотел работать переводчиком, ездить с делегациями за границу, но за границу меня никто не приглашает, а самому ходить и напрашиваться неудобно.

Моя невеста Нина говорит, что я стесняюсь всегда не там, где надо. А ее мама говорит, что я сижу не на своем месте. «Своим» местом она, очевидно, считает такое, где моя месячная зарплата равнялась бы теперешней годовой.

Надо было платить за проезд. Я порылся в карманах, достал мелочь — три копейки и пять копеек. Подумал, что если брошу пятикопеечную монету, то переплачу: ведь билет стоит четыре копейки. Если же опущу три копейки, то обману государство на копейку. Посомневавшись, я решил этот вопрос в свою пользу, тем более что рядом не было никого, кроме близорукой женщины, которая читала газету.

Я спокойно оторвал билет, сел против кассы и стал припоминать, как мы с Ниной ссорились вчера по телефону. Сначала я говорил — она молчала. Потом она говорила — я молчал.

Женщина тем временем отложила газету и строго поинтересовалась:

— Молодой человек, сколько вы опустили в кассу?

Тут я понял, что она не близорука — наоборот, у нее очень хорошее зрение — и что она контролер. Опыт общения с контролерами у меня незначительный. Но сегодня я не воспользовался бы никаким опытом. Сегодня я решил никого не бояться.

— Три копейки, — ответил я контролерше.

— А сколько стоит билет? — Такие вопросы в школе называют наводящими.

— Четыре копейки, — сказал я.

— Почему же вы опустили три вместо четырех?

— Пожалел.

Контролерша посмотрела на меня с удивлением.

— А вот сейчас оштрафую вас, заплатите в десять раз больше. Не жалко будет?

— Почему же? — возразил я. — Очень жалко.

Контролерша смотрела на меня, я — на контролершу, маленькую, худую, с озябшими пальцами. Она была такая худая, наверное, оттого, что много нервничала — по своей работе ей приходилось ссориться с безбилетными пассажирами.

А контролерша, глядя на меня, тоже о чем-то думала: припоминала, наверное, где меня раньше видела. На меня многие так смотрят, потому что я похож на киноартиста Смоктуновского, только у меня волос побольше. Но моя контролерша, скорее всего, в кино ходила редко и Смоктуновского вряд ли знала.

— Может, вы просто забыли бросить копейку? — Это был следующий наводящий вопрос.

— Я не забыл. Я пожалел.

Такой искренний безбилетник контролерше, очевидно, раньше не попадался, и она не знала, как в таких случаях себя вести.

— Вы думаете, мне приятно брать с вас штраф? — растерянно спросила она.

— По-моему, в этом заключается ваша работа.

— Нет, не в этом: моя работа в том, чтобы касса делала полные сборы. Да. А некоторые так и норовят обмануть. Или вовсе ничего не платят, а билет отрывают... — Контролерша, видимо, хотела сказать мне о роли доверия на современном этапе к человеку, о принципе «доверяй, но проверяй» и о том, что именно они, контролеры, призваны повышать сознательность граждан.

Но ничего этого она не сказала, а, махнув рукой, прошла вперед и села под табличкой «Места для пассажиров с детьми и инвалидов».

Троллейбус остановился, я бросил в кассу пятикопеечную монету и сошел. Это была моя остановка.

В школе было тихо и пустынно. Школьный сторож Пантелей Степаныч, а за глаза просто Пантелей, сидел в одиночестве возле раздевалки в своей неизменной кепочке, которую он носил, наверное, с тех пор, когда сам еще ходил в школу.

Пантелей — и сторож, и кассир, и завхоз, он чинит столы и парты, прибивает плакаты и портреты знаменитых людей. Если бы ему поручили, он мог бы преподавать французский язык в пятом «Б» и делал бы это с неменьшим успехом, чем я. Во всяком случае, приходил бы вовремя.

Увидев меня, Пантелей скорчил гримасу, как Мефистофель, и погрозил пальцем:

— Смотри, жене все скажу.

Это была его дежурная шутка. Молодым учительницам он говорил то же самое, но заменял слово «жене» словом «мужу»: «Смотри, мужу все скажу».

Учительниц это раздражало, потому что мужей у многих не было, а Пантелей каждый раз напоминал об этом.

Я стал раздеваться и уже видел свой пятый «Б» в конце коридора второго этажа: Малкин бегает по партам, давя каблуками чернильницы, а Собакин наверняка сидит под потолком.

В пятом «Б» раньше помещался спортивный зал, и в классе до сих пор осталась стоять шведская стенка. Собакин каждый раз забирается на самую верхнюю перекладину, и каждый раз я начинаю урок с того, что уговариваю его сойти вниз.

Обычно это выглядит так:

— Собакин! — проникновенно вступаю я.

— А! — с готовностью откликается Собакин.

— Не «а», а слезь сию минуту.

— Мне отсюда лучше видно и слышно.

— Ты слышишь, что я тебе сказал?

— А че, я мешаю?..

Дальше начинается ультиматум с моей стороны, что, если-де он, Собакин, не слезет, я прекращу урок и выйду из класса.

Собакин продолжает сидеть на стенке, завернув носы ботинок за перекладину. Класс молча, с интересом наблюдает. Несколько человек болеют за меня, остальные за Собакина.

Я проигрываю явно. Выйти я не могу: стыдно перед учениками и попадет от завуча. Собакин слезать не собирается. Мне каждый раз хочется подойти, стянуть его за штаны и дать с уха на ухо, как говорит Нинина мама, чтоб в стенку влип.

Кончается это обычно тем, что детям становится жаль меня, они быстро и без разговора водружают Собакина на его положенное место.

Сегодня я, как обычно, «открыл» урок диалогом с Собакиным.

— Собакин!

— А!

— Ну что ты каждый раз на стену лезешь? Хоть бы поинтереснее что придумал.

— А что?

— Ну вот, буду я тебя учить на свою голову.

Собакин смотрит на меня с удивлением. Он не предполагал, что я сменю текст, и не подготовился.

— А вам не все равно, где я буду сидеть? — спросил он.

Я подумал, что мне, в сущности, действительно все равно, и сказал:

— Ну сиди.

Я раскрыл журнал, отметил отсутствующих.

Уроки у меня скучные. Я все гляжу на часы, сколько минут осталось до звонка. А когда слышу звонок с урока, у меня даже что-то обрывается внутри.

Я прочитал в подлинниках всего Гюго, Мольера, Рабле, а здесь должен объяснять imparfait спрягаемого глагола и переводить фразы: «это школа», «это ученик», «это утро».

Я объясняю и перевожу, но морщусь при этом, как чеховская кошка, которая с голоду ест огурцы на огороде.

Я скучаю, и мои дети тоже скучают, а поэтому бывают рады даже такому неяркому развлечению, как «Собакин на стенке». Сегодня Собакин слез сразу, так как, получив мое разрешение, потерял всякий интерес публики к себе, а просто сидеть на узкой перекладине не имело смысла.

Отметив отсутствующих, я спрашиваю, что было задано на дом, и начинаю вызывать к доске тех, у кого мало отметок и у кого плохие отметки.

Сегодня я вызвал вялого, бесцветного Державина, у которого мало отметок, да и те, что есть, плохие. Дети дразнят его «Старик Державин».

— Сэ ле... матен... — начал Старик Державин.

— Матэн, — поправил я и, глядя в учебник, стал думать о Нине.

— Матен, — упрямо повторил Державин.

Я хотел поправить еще раз, но передумал — у парня явно не было способности к языкам.

— Знаешь что, — предложил я, — скажи своей маме, пусть она перестанет нанимать тебе учителя, а найдет своим деньгам лучшее применение.

— Можно, я скажу, чтобы она купила мне батарейки для карманного приемника? — Державин посмотрел на меня, и я увидел, что глаза у него синие, мраморного рисунка.

— Скажи, только вряд ли она послушает.

Державин задумался, а я, взглянув на его сведенные белые брови, подумал, что он вовсе не бесцветный и не вялый — про-

сто парню не очень легко жить с такой энергичной мамой и таким учителем, как я.

Через класс пролетела записка и шлепнулась возле Тамары Дубовой.

— Дубова, — попросил я, — положи записку мне на стол.

— Какую, эту?

— А у тебя их много?

— У меня их нет.

Я почувствовал, что, если вовремя не прекратить этот содержательный разговор, он может затянуться. Удивительно, в общении с Дубовой я сам становлюсь дураком.

— Ту, что валяется возле твоей парты, — сказал я.

Дубова с удовольствием подхватилась, подняла записку, положила передо мной на стол и пошла обратно, вихляя спиной. Для нее это была большая честь — положить мне на стол записку, да к тому же даровое развлечение — пройтись во время урока по классу.

Читать записку при всех мне было неловко, а прочитать хотелось: интересно знать, о чем пишут друг другу двенадцатилетние люди. Я сунул записку в карман.

— Э тю прэ кри Мари а сон фрер Эмиль, — читал Державин.

— Переведи, — сказал я, незаметно вытащил под стол записку и стал тихо разворачивать: она была свернута, как заворачивают в аптеках порошки.

— «Ты готов? — кричит Мария своему брату Емеле...»

— Не Емеле, а Эмилю, — поправил я.

— Эмилю... Нон, Мари...

Я развернул наконец записку: «Дубова Тома, я тебя люблю, но не могу сказать, кто я. Писал быстро, потому плохо. Коля».

Теперь понятно, почему этот известный неизвестный каждый раз лазит под потолок.

Мне вдруг стало грустно. Подумал, что им по двенадцати и у них все впереди. А у меня все на середине.

— Садись, — сказал я Державину.

Я встал и начал рассказывать о французском языке вообще — не о глагольных формах, а о том, что мне самому интересно: о фонемоидах, о том, почему иностранец, выучивший русский язык, все равно говорит с акцентом; о художественном переводе, о том, как можно одну и ту же фразу перевести по-разному. Я читал им куски из «Кола Брюньона» в переводе Лозинского. Читал Рабле в переводе Любимова.

Мои дети первый раз в жизни слушали Рабле, а я смотрел, как они слушают: кто подперев кулаком подбородок, кто откинувшись, глядя куда-то в окно, залитое небом. Дубова ела меня глазами, следила, как движутся мои губы. Павлов смотрел мне прямо в лицо: в первый раз он глядел не сквозь меня.

Передо мной сидели тридцать разных людей, раньше все они казались мне похожими друг на друга, как полтинники, и я никого не знал по имени, кроме Собакина и Дубовой.

Потом мы вместе стали переводить первую фразу из заданного параграфа: «C'est le matin», и получилось, что эти три слова можно перевести в трех вариантах: «вот утро», «это утро» и просто «утро».

В конце урока я вызвал Павлова — мальчика, над которым все смеются. В каждом коллективе есть свой предмет для насмешек. В пятом «Б» это Павлов, хотя он не глупее и не слабее других.

Помня о фонемоидах, Павлов старался произносить слова в нос: хотел продемонстрировать такое произношение, чтобы француз не обнаружил в нем иностранца. Я не понимал ни слова, потому что он ухитрялся произносить в нос не только гласные, но и согласные.

Дети переводили глаза с меня на Павлова, с Павлова на меня. Я сидел непроницаем, как сфинкс, — они решили, что Павлов читает правильно. И не засмеялись.

Зазвенел звонок. Это Пантелей включил электрические часы. Мне показалось, что Пантелей рано их включил. Я сверил со своими — все было правильно. Урок кончился, а я не успел объяснить imparfait глаголов первой группы, не успел опросить двоечников.

Это значит отставание от программы; это значит высокий процент неуспеваемости; это значит будет о чем поговорить на педсовете.

На перемене я иду в столовую. Мне надо прежде зайти в учительскую, положить журнал. Но идти туда я не хочу, потому что встречу завуча или директора.

В столовой завтракает «продленный день». Возле буфета — очередь: девчонки и мальчишки тянут пятаки, каждый мечтает о пирожке с повидлом.

Я люблю наблюдать детей в метро, на улице, в столовой, но не на уроке. На уроке я испытываю так называемое «сопротивление материала».

Я хотел взять сосиски с капустой, но в это время в столовую вошла завуч Вера Петровна.

Я не умею правильно есть сосиски: люблю их кусать, чтобы кожица хрустела. Такая манера есть не соответствует светскому этикету, а обнаруживать перед завучем свою несветскость мне не хотелось.

Тем не менее я беру сосиски и иду к столу.

В обществе Веры Петровны я чувствую себя сложно. Семьи у нее нет, работает она хорошо — в этом смысл ее жизни. Семьи у меня тоже нет, работаю я плохо — и смысл моей жизни, если он есть, не в этом.

Для Веры Петровны нет людей умных и глупых, сложных и примитивных. Для нее есть плохой учитель и хороший учитель.

Я — плохой учитель. Перед ней я чувствую себя несостоятельным и поэтому боюсь ее. Я обычно стараюсь дать ей понять, что где-то за школьными стенами проходит моя иная, главная жизнь. И в той жизни я куда более хозяин, чем остальные учителя, которые не читают Рабле не то что в подлиннике, но и в переводе Любимова.

Сегодня я ничего не давал понять. Я ел сосиски прямо с кожицей, ждал, когда Вера Петровна начнет говорить о моем опоздании.

— Слякоть, — сказала она, глянув в окно. — Скорее бы зима...

Я промолчал. Мне вовсе не хотелось, чтобы зима приходила скорее, потому что у меня нет зимнего пальто. Кроме того, я понимал, что «слякоть» — это проявление демократизма. Это значило: «Вот ты опаздываешь, халтуришь, а я с тобой как с человеком разговариваю».

Я молчал. Вера Петровна блуждала ложкой в супе.

— Скажите, Валентин Николаевич, — начала она тихим семейным голосом, — вы после института пошли работать в школу... Вы так хотели?

— Нет, я хотел поехать в степь.

Я действительно хотел тогда поехать в степь.

Не для того, чтобы внести свой вклад, — его и в Москве можно внести. Не для того, чтобы наблюдать жизнь, — ее где угодно можно наблюдать.

Мне хотелось в другие условия, потому что, говорят, в трудностях раскрывается личность. Может, вернувшись потом в Москву, я стал бы переводить книги и делал бы это не хуже, чем Ло-

зинский. Может, во мне раскрылась бы такая личность, что Вера Петровна просто ахнула.

Но, кроме всего, мне хотелось посмотреть, какая она, степь, и познакомиться с людьми, которые живут там, работают и обходятся без московской прописки.

— В какую степь? — не поняла Вера Петровна. — В казахстанскую?

— Можно в казахстанскую, можно и в другие.

Вера Петровна, наверное, подумала, что я ее разыгрываю и что это неуместно.

— Что ж вы не поехали? — строго спросила она.

Теперь придется объяснять, что у меня очень больная мама, от которой ушел папа. И придется рассказать про Нину, которая к тому времени, когда меня распределяли, не закончила еще своего высшего образования, а заканчивает только в этом году.

— Я нужен был в Москве.

— Кому?

Вера Петровна думала, что я скажу — пятому «Б».

— Двум женщинам, — сказал я.

Завуч стала быстро есть суп. Она решила не задавать больше вопросов на посторонние темы, потому что неизвестно, о чем я еще захочу ей рассказать в порыве откровенности. Вера Петровна решила говорить только о деле.

— Вот вы сегодня опять опоздали, — начала она. — За эту неделю третий раз.

— Четвертый, — поправил я.

— Вам не стыдно?

Я задумался. Сказать, что совсем не стыдно, я не мог, стыдно — тоже не мог.

— Не очень, — сознался я.

— А напрасно. Вы понимаете, что это такое? Был звонок. Вас нет, дети волнуются...

— Что вы! — возразил я. — Наоборот, они думают, что я заболел, и очень рады.

Вера Петровна посмотрела на меня внимательно и вдруг смутилась. Наверное, подумала, что я кокетничаю с ней. Это было приятно ей, хоть я и плохой учитель. А я, когда она покраснела, впервые увидел, что она еще молода и вовсе не так самоуверенна.

— Скажите, — спросила она, — неужели у вас нет большой мечты? — Это был уже не наводящий вопрос. Это был простой человеческий вопрос.

— Есть. Я хочу писать рассказы.
— Почему же не пишете?
— Я пишу, но их не печатают.
— Почему? — изумилась она.
— Говорят, плохие.
— Не может быть. У вас должны быть хорошие рассказы.

Вот всегда так. Во мне всегда подозревают больше, чем я могу. Еще в детстве, когда я учился играть на рояле, учительница говорила моей маме, что я способный, но ленивый. Что если бы я не ленился, то из меня вышел бы Моцарт. А я точно знаю, что Моцарт бы из меня не вышел при всех условиях.

Во время нашего разговора в столовую вошла учительница начальных классов Кудрявцева. Она молчит, в разговоре не участвует, обдумывает предстоящий урок. Так хороший актер перед спектаклем входит в образ.

Появилась учительница пения Лидочка.

Она мечтает стать киноактрисой и свою работу в школе считает временной; знакома со многими знаменитыми писателями, артистами, и когда рассказывает о них, то называет: Танька, Лешка.

Пришел наш второй мужчина — учитель физкультуры Евгений Иваныч, или, как его фамильярно зовут ученики, Женечка.

Меня ученики зовут «шик мадера», а Женечку «тюлей». Он считает меня размазней, интеллигентом, скучным человеком, потому что я не поддерживаю за столом Лидочкиных изысканных тем. Женечка понимает толк в стихах, любит народные песни, но стесняется обнаружить это. Ему нравится казаться хуже, чем он есть.

Мне нравится казаться лучше, чем я есть, Лидочке — талантливее.

Я редко встречаю людей, которые хотят казаться тем, что они есть на самом деле.

В конце перемены, перед самым звонком, является наш третий мужчина (всего, включая Пантелея, нас четверо), учитель физики Александр Александрович, или, как зовут его дети, Сандя.

Санде пятьдесят лет. Он любит говорить, что всех своих врагов нажил честно. Это правда. Сандя никого не боится, и, для того чтобы говорить правду, ему не надо постоять во сне между двух радуг. Сандя «режет» эту самую правду направо и налево. Он постоянно всем недоволен. И часто он прав. Но вместе с тем я всегда чувствую, что его больше всего интересует собственная

персона. Я знаю, он подсчитывает, сколько съел за день жиров, белков и углеводов. Если углеводов не хватает, Сандя в конце дня съедает кусочек черного хлеба.

Сейчас он пил кофе с бутербродами, которые принес из дому. Ел бутерброд с икрой — в ней много белков — и на чем свет поносил новый фильм.

Фильм был на самом деле плохой, но я чувствовал, что Сандя врет.

— Послушайте, — поинтересовался я, — зачем вы врете?

Сандя на минуту перестал жевать. За столиком рассмеялись, потому что все видели фильм «Знакомьтесь, Балуев».

— С вами сегодня невозможно серьезно разговаривать, — сказала Вера Петровна и поправила волосы.

Зазвенел звонок. Пантелей исправно нес службу. Мне надо было идти в девятый «А».

У нашей школы есть «преимущество» перед другими школами в районе — рядом колхозный базар. В других школах лучшие показатели по успеваемости и посещаемости, а возле нашей — базар.

Я пользуюсь этим преимуществом, чтобы купить Нине цветы и виноград. Дарить цветы считается признаком внимания и изысканности, а Нине будет приятно, если я проявлю внимание и изысканность.

Ходить с цветами по улице я стыжусь, поэтому прячу цветы в портфель.

За виноградом очередь метров триста. Если я стану в хвост очереди, тогда мне придется пройти мелкими и редкими шагами эти триста метров, а я тороплюсь к Нине.

Я подхожу прямо к продавщице и говорю ей, протягивая металлический рубль:

— Килограмм глюкозы.

Дальше действие начинает развиваться в двух противоположных направлениях. В кино это называется «параллельный монтаж» и «монтаж по контрасту». У меня одновременно и «параллельный», и «по контрасту».

Продавщица улыбается и начинает взвешивать мне виноград, отбирая спелые гроздья и выщипывая из них гнилые ягоды. Она так делает потому, что я не требую для себя никакого исключения, и потому, что я похож на Смоктуновского.

С другой стороны, мною заинтересовалась очередь, и выразителем ее интересов явился старик, который должен был получать

виноград вместо меня и тоже приготовил для этой цели металлический рубль.

— Молодой человек, — строго сказал старик, — я вас что-то здесь не видел...

— Правильно, — подтвердил я. — Вы меня видеть не могли, я только что подошел.

— А вы, между прочим, напрасно обижаетесь, — укоризненно заметил старик. — Если вы отходите, надо предупреждать. В следующий раз дождитесь последнего, а потом уже идите по своим делам.

— Хорошо, — пообещал я.

Я взял виноград и пошел. Очередь энергично выразила свое отношение мне в спину.

Нина живет на улице Горького, за три остановки от рынка. Я мог бы сесть на троллейбус, но иду пешком, потому что у меня опять неудобные деньги: три копейки и пять копеек. Кроме того, троллейбус останавливается на противоположной Нининому дому стороне, а я не люблю переходить дорогу.

Говорят, что я со странностями. Я, например, помногу ем, а все равно худой. Перевожу рассказы с одного языка на другой, хотя об этом меня никто не просит и денег не обещает. Не даю частных уроков, хотя об этом меня просит большое количество людей и обещают по два пятьдесят за час.

Нина говорит, что я тонкая натура и у меня нервы.

Нинин папа — что в двадцать пять лет у человека нервов не бывает.

Нинина мама — что все зависит не от возраста, а от индивидуальных особенностей организма.

К моим индивидуальным особенностям она относится пренебрежительно. Презирает меня за то, что я живу в каком-то Шелапутинском переулке, а не в центре. За то, что я не из профессорской семьи, что у меня нет зимнего пальто, что я не снимаюсь в кино, не печатаюсь в газетах и зарабатываю меньше, чем она.

Чтобы понравиться Нининой маме, я, предположим, мог бы обменять свою комнату на меньшую и переехать на улицу Горького. Мог бы сшить себе хорошее пальто, напечататься в газете. Но заработать больше, чем Нинина мама, я не могу.

Нинина мама работает косметичкой. Дома она приготавливает крем для лица, но не для своего. Себе она покупает крем в поль-

ском магазине «Ванда», а тот, что делает, продает клиенткам по три рубля за баночку.

Рецепт изготовления Нинина мама держит в большом секрете — боится, что стоит лишь намекнуть, как все сразу догадаются и тоже захотят сами делать крем.

Я бы, например, смог, потому что знаю секрет. Он прост, как все гениальное. Берется два тюбика разного крема, по пятнадцать копеек за тюбик — можно купить в аптеке, в парфюмерном магазине, можно при банях, в зависимости от того, куда удобнее зайти, чтобы не переходить дорогу. Надо взять два тюбика, выпустить крем из одного, из другого, перемешать палочкой или ложкой — лучше палочкой, потому что ложка будет пахнуть, — налить немного одеколона для запаха и аккуратно разложить по баночкам. Вот и все.

По-моему, не тяжело, и каждый при желании мог бы заменить Нинину маму на ее посту. Но она имеет на этот счет собственное мнение, отличное от моего. Движется она с достоинством, кожа у нее белая — польские кремы, говорят, на меду и на лимонах. Собственные мнения, которых у нее много и все разные, высказывает медленно и в нос.

Нинин папа считается в доме на голову ниже мамы. Работает он инженером. Правда, он хороший человек, но, как говорит Нинина мама, хороший человек — не специальность, денег за это не платят.

Я все это понимаю, поэтому хожу к Нине редко — в тех случаях, когда она больна и когда мы ссоримся.

С Ниной мы знакомы пять лет, но наши отношения до сих пор не выяснены. За это время у нас было много хорошего и много плохого.

У меня такое чувство, будто сам Господь Бог поручил мне заботу о ней. И я не знаю, то ли жить без этого не могу, то ли мне это ни к чему. Я до сих пор не знаю, поэтому мы ссоримся. Вчера снова поссорились, и я опять не знаю, так ли необходимо идти к ней с цветами. Но я представляю, как она отрывисто смеется, курит папиросу за папиросой, говорит всем, что наконец-то отделалась от меня, и не спит ночь. И вот я иду к ней после работы, чтобы она перестала курить и спала ночью.

Откровенно говоря, когда мы ссоримся, я начинаю думать о себе хуже, чем это есть на самом деле, а о Нине лучше. Начинаю смотреть глазами Нининой мамы. А мне хочется видеть себя глазами Нины.

Открыла мне соседка — видно, неправильно сосчитала количество звонков.

В квартире Нины живет восемь семей, и на двери прикреплен списочек всех жильцов в алфавитном порядке. Против каждой фамилии проставлено количество звонков.

Против Нининой фамилии — восемь звонков, потому что начинается она с буквы «Я» и стоит, естественно, последней.

Каждый раз, когда подхожу к двери, я думаю, что если нажимать кнопку редко, пережидая после каждого звонка, то в квартире, как в мультфильме, изо всех дверей в алфавитном порядке будут высовываться головы. Высовываться и слушать.

Я быстро звоню восемь раз. Представляю, как при этом все квартиросъемщики бросают свои дела и начинают торопливо считать, шевеля губами.

Сегодня мне открыла соседка, ее фамилия начинается с буквы «Ш» и стоит в списке перед Нининой. Она часто отпирает мне дверь, и мы хорошо знакомы.

Когда я вошел в комнату, Нина чертила, нагнувшись над столом, с умным видом рисовала кружок. Весь лист величиной с половину простыни был изрисован стрелочками, кружками и квадратиками.

Увидев меня, Нина перестала чертить, выпрямилась и покраснела от неожиданности, от радости, от обиды, которая еще жила в ней после ссоры, и оттого, что я застал ее ненакрашенной.

Моя Нина бывает красивая и некрасивая. Бесцеремонная и застенчивая. Умная и дура. Ее любимый вопрос: «Хорошо это или плохо?» — и каждый раз я не знаю, как ей ответить.

Мать поздоровалась со мной приветливее, чем обычно, и, прихватив соль, ушла на кухню. Я понял — она в курсе наших дел.

Я разделся и сел на диван. Нина снова принялась чертить. Мы молчали.

Она, видно, собиралась сказать мне нечто такое, что бы я понял раз и навсегда, но ждала, когда я начну первый. А я не начинал первый, и это злило ее.

Телевизор был включен. Шла передача «Встреча с песней». За столом сидели действующие лица и их исполнители, вели непринужденную дружескую беседу в стихах. Время от времени все замолкали, за кадром включали песню — тогда один из артистов принимался старательно шевелить губами. Артист, изображающий летчика, спел подобным образом две песни — одну тенором, а другую басом.

Когда передача закончилась, диктор стал перечислять фамилии тех, кто эту передачу готовил. Я подумал: хорошо бы всей этой компании приснилась ночью радуга.

— Валя! — Нина отложила карандаш. Не выдержала. — Прежде всего я хочу знать, за что ты меня не уважаешь?

Все-таки лучше, если бы она была только умная.

— С чего ты взяла, что я тебя не уважаю?

— Мы договорились в семь. Я ждала до семи пятнадцати, стояла, как не знаю кто... Я не говорю уже о любви, хотя бы соблюдай приличия...

Последнюю фразу Нина придумала не сама, заимствовала ее из немецкого фильма «Пока ты со мной» с Фишером в главной роли...

— Я пришел в семь шестнадцать, тебя не было, — сказал я.

— Почему же ты пришел в семь шестнадцать, если мы договорились в семь?

— Я не мог перейти дорогу: там, возле метро, поворот — и не поймешь, какая машина свернет, какая поедет прямо.

— Ну что ты врешь?

— Я не вру.

— Значит, считаешь меня дурой...

— Иногда считаю.

Нина посмотрела на меня с удивлением. По ее сценарию я должен был сказать: «Брось говорить глупости, я никогда не считал тебя дурой». Тогда бы она заявила: «И напрасно. Я действительно круглая дура, если потратила на тебя лучшие годы своей жизни».

Но я путал карты, и Нине пришлось на ходу перестраиваться.

— И напрасно... — сказала она. — Я все вижу. Все.

Что там она видит? Будто дело в том, пришел я в семь или в семь шестнадцать. Главное, что я не делаю предложения.

— Что ты видишь? — спросил я.

— То, что ты врешь. — Нина побледнела сильнее, наверное, действительно не спала ночь.

— Когда я говорю правду, ты не веришь.

— Ты не думал, что я вчера уйду...

Я понял, Нина решила не перестраиваться, а просто сказать мне все, что приготовила для меня ночью.

— Ты привык, что я тебя всегда жду. Пять лет жду. Но больше я ждать не буду. Понятно?

Вот тут бы надо встать и сделать предложение. Но я молчу.

Где-то в казахстанской степи есть сайгаки — такие звери, похожие на оленей. Я их видел в кино. Сайгаки эти жили еще в одно время с мамонтами, но мамонты вымерли, а сайгаки остались и, несмотря на свое древнее происхождение, бегают со скоростью девяносто километров в час.

Ленька Чекалин рассказывал, как охотился ночью с геологами на грузовике. Если сайгак попадает в свет фар, он не может свернуть, наверное, потому, что ночью степь очень черная и сайгак боится попасть в черноту.

Представляю, что он чувствует, когда бежит вот так, я очень хорошо представляю, поэтому не хотел бы охотиться на сайгака. Но вцепиться в борт грузовика, ощутить всей кожей пространство и видеть в высветленном пятне бегущего древнего зверя я бы хотел.

Если бы меня после института не оставили в Москве, я, может, увидел бы все это своими глазами. Но меня оставили в Москве, и я боюсь, что теперь никуда не поеду. А если женюсь на Нине, то вообще, кроме Москвы и Московской области, а также курортных городов Крыма и Кавказа, ничего не увижу.

Нина ждала, что я отвечу, но я молчал.

— И вообще ты врешь, будто переводишь по вечерам, — грустно сказала она. — Где твои переводы? Хоть бы раз показал...

— Нет никаких переводов. Я по вечерам к Леньке хожу, а иногда в ресторан.

— Я серьезно говорю. — Нина подошла ко мне. — Ты куда-то уходишь, я... ну, в общем, правда, покажи мне свои переводы.

— Да нет никаких переводов, — сказал я серьезно. — Я к Леньке хожу, а тебя не беру, ты мне и так за пять лет надоела. Там другие девушки есть.

Нина засмеялась, села возле меня, и я почувствовал вдруг, что соскучился. Мне даже невероятным показалось, что когда-то я обнимал ее. Нина быстро оглянулась на дверь. Я прижал ее к себе, услышал дыхание на своей шее, подумал — правда.

— Дурак, вот ты кто.

Эту фразу Нина не планировала, и это была ее первая умная фраза. День еще не кончился, и если мне повезет, то я услышу вторую.

В шесть часов пришел отец, и все сели за стол. В последнее время каждый раз, когда я прихожу, меня усаживают обедать.

Разливая суп, Нинина мама переводила глаза с меня на Нину, с Нины — на меня. Ей хотелось понять по нашим лицам, помирились мы или нет.

— Разольешь, — предупредил отец. Он сидел за столом в пижамных штанах, хотя жена каждый раз говорила ему, что это не «комильфо».

Нинина мама так ничего и не поняла по нашим лицам. Пребывать в неизвестности она больше не могла, поэтому спросила:

— Ну как?

Нина покраснела.

— Мама!

— Ну как суп, я спрашиваю. Валя, как вам суп?

Суп был нельзя сказать чтобы вкусный, но лучше, чем те, которые я ем в школе.

— Ничего, — сказал я.

Нинина мама посмотрела на меня с удивлением, потому что только последний хам может есть и хаять то, что ему дают. Бывают такие положения, в которых говорить правду неприличнее, чем врать. Но сегодня надо мной висела радуга.

— Очень вкусный, мамочка, — быстро сказала Нина.

Это была ее следующая умная фраза. Если так пойдет дело, то сегодня Нина побьет рекорд.

— Валя, вы читали в «Правде», как орлы напали на самолет? — спросил отец.

Вряд ли он спросил это из соображений такта. Просто знал, что следующий вопрос о супе жена предложит ему, за двадцать пять лет совместной жизни он выучил на память все ее вопросы и ответы.

— Читал, — сказал я.

— Что, что такое? — заинтересовалась Нина.

— Летел пассажирский самолет где-то в горах, кажется. А навстречу ему три орла. Один орел разогнался — и прямо на самолет.

— Идиот! — сказала Нинина мама.

— Ну, ну... — Нина нетерпеливо заерзала на стуле.

— Ну и упал камнем с проломленной грудью, а те два улетели, — закончил отец.

— Надо думать, — заметила Нинина мама, которая тоже улетела бы, будь она на месте тех двух орлов. — Только последний дурак бросится грудью на самолет.

— Это хорошо или плохо? — Нина посмотрела на меня.

— Для орла плохо, — сказал я.

— Ничего ты не понимаешь... — Нина стала глядеть куда-то сквозь стену, как Павлов сквозь меня, а я задумался: действи-

тельно, хорошо это или плохо? Мог бы я броситься грудью на самолет или улетел, как те два орла?..

— Представляешь, — медленно проговорила Нина, — наверное, он решил, что это птица.

Она глядела сквозь стену; в руках забытый кусочек хлеба, лицо растроганное и вдохновенное, глаза светло-зеленые, чистые, будто промытые. Если бы знать, что она может поехать за сайгаками, я согласился бы просидеть в этой комнате всю жизнь и никуда не ездить. Согласился бы каждый день общаться с ее мамой, каждый день встречать в школе Сандю — только бы знать, что Нина может поехать.

Все думали о своем и молчали, кроме Нининой мамы. Она, очевидно, думала о том, сделаю я сегодня предложение или нет, а вслух рассказывала про соседа, который ушел от жены к другой женщине, несмотря на ребенка, язву желудка и маленькую зарплату.

Фамилия этого человека начиналась с буквы «А», звонить ему надо было один раз, поэтому в лицо я его не видел. А жену видел и на месте соседа тоже не посмотрел бы на язву желудка и на маленькую зарплату.

— Прожить десять лет... как вам это нравится?! — возмущалась Нинина мама.

— Мне нравится, — сказал я. — На месте вашего соседа я бы раньше ушел.

Нина засмеялась.

— А как же, по-вашему, ребенок? — поинтересовалась мама.

Отец улыбнулся в тарелку.

— Уходят от жены, а не от ребенка.

Нина снова засмеялась, хотя я ничего смешного не сказал.

— Но ведь существуют... — Нинина мама стала искать подходящие слова. Мне показалось, я даже услышал, как заскрипели ее мозги.

— Нормы, — подсказал отец.

— Нормы, — откликнулась Нинина мама и испуганно посмотрела на меня.

Я должен был бы сказать, что, конечно, существуют нормы и долг порядочной женщины строго их соблюсти. Но я сказал:

— Какие там нормы, если их друг от друга тошнит?

Отец хотел что-то сказать, но тут он подавился и закашлялся.

Жена хотела заметить ему, что это не «комильфо», но только махнула рукой и быстро проговорила:

— Дядя Боря звал в воскресенье на обед. Пойдем?

Значит, меня собираются представить будущим родственникам.

— А сегодня вас дядя не звал? — спросил я.

— При чем тут сегодня? — не понял отец.

— Ни при чем. Просто я жду, может, вы уйдете...

Нина бросила вилку и захохотала, а Нинина мама сказала:

— Вечно эти молодые выдрючиваются.

«Выдрючиваться» в переводе на русский язык обозначает «оригинальничать, стараться произвести впечатление».

Странно, сегодня я целый день только и старался быть таким, какой есть, а меня никто не принял всерьез. Контролерша подумала, что я ее разыгрываю, Вера Петровна — что кокетничаю, старик решил, что я обижаюсь, Нина уверена, что я острю, а Нинина мама — что «выдрючиваюсь».

Только дети поняли меня верно.

Родители ушли. Мы остались с Ниной вдвоем.

Нина, наверное, думала, что сейчас же, как только закроется дверь, я брошусь ее обнимать, и даже приготовила на этот случай достойный отпор вроде: «Ты ведешь себя так, будто я горничная». Но дверь закрылась, а я сидел на диване и молчал. И не бросался.

Это обидело Нину. Поджав губы, она стала убирать со стола, демонстративно гремя тарелками.

Я вспомнил, что у меня в портфеле лежат для нее цветы, достал их, молча протянул.

Нина так растерялась, что у нее чуть не выпала из рук тарелка. Она взяла цветы двумя руками, смотрела на них долго и серьезно, хотя там смотреть было не на что. Потом подошла, села рядом, прижалась лицом к моему плечу. Я чувствовал щекой ее мягкие теплые волосы, и мне казалось, что мог бы просидеть так всю свою жизнь.

Нина подняла голову, обняла меня, спросила таким тоном, будто читала стихи:

— Пойдем в воскресенье к дяде Боре?

За пять лет я так и не научился понимать ход ее мыслей.

— Денег не будет — пойдем.

— Какой ты милый сегодня! Необычный.

— Не вру, вот и необычный.

Зазвонил телефон. Нинины руки лежали на моей шее, и я не хотел вставать, Нина — тоже. Мы сидели и ждали, когда телефон замолчит.

Но ждать оказалось хуже. Я снял трубку.

— Простите, у вас случайно Вали нет? — робко спросили с того конца провода. Я узнал голос Леньки Чекалина.

— Случайно есть, — сказал я.

— Скотина ты — вот кто! — донесся до меня моментально окрепший баритон. Ленька тоже узнал меня. Я вспомнил, что обещал быть у него вечером.

— Здравствуй, Леня, — поздоровался я.

— Чего-чего? — Моему другу показалось, что он ослышался, потому что такие слова, как «здравствуй», «до свидания», «пожалуйста», он позабыл еще в школе.

— Здравствуй, — повторил я.

— Ты с ума сошел? — искренне поинтересовался Леня.

— Нет, просто я вежливый, — объяснил я.

— Он, оказывается, вежливый, — сказал Ленька, но не мне, а кому-то в сторону, так как голос его отодвинулся. — Подожди, у меня трубку рвут... — это было сказано мне.

В трубке щелкнуло, потом я услышал дыхание, и высокий женский голос позвал:

— Валя!

Меня звали с другого конца Москвы, а я молчал. Врать не хотелось, а говорить правду — тем более.

Сказать правду — значило потерять Нину, которая сидит за моей спиной и о которой я привык беспокоиться. Я положил трубку.

— Кто это? — выдохнула Нина. У нее были такие глаза, как будто она чуть не попала под грузовик.

— Женщина, — сказал я.

Нина встала, начала выносить на кухню посуду.

Она входила и выходила, а я сидел на диване и курил. Настроение было плохое, я не понимал почему: я прожил день так, как хотел, никого не боялся и говорил то, что думал. На меня, правда, все смотрели с удивлением, но были со мной добры.

Я обнаружил сегодня, что людей добрых гораздо больше, чем злых, и как было бы удобно, если бы все вдруг решили говорить друг другу правду, даже в мелочах. Потому что, если врать в мелочах, по инерции соврешь и в главном.

Преимущества сегодняшнего дня были для меня очевидны, однако я понимал, что, если завтра захочу повторить сегодняшний день, — контролерша оштрафует меня, Вера Петровна выгонит с работы, старик — из очереди, Нина — из дому.

Оказывается, говорить правду можно только в том случае, если живешь по правде. А иначе — или ври, или клади трубку.

В комнату вошла Нина, стала собирать со стола чашки.

— Ты о чем думаешь? — поинтересовалась она.

— Я думаю, что жить без вранья лучше, чем врать.

Нина пожала плечами:

— Это и дураку ясно.

Оказывается, дураку ясно, а мне нет. Мне вообще многое не ясно из того, что очевидно Санде, Нининой маме. Но где-то я недобрал того, что очевидно Леньке.

Ленька закончил институт вместе со мной и тоже нужен был в Москве двум женщинам. Однако он поехал в свою степь, а я нет. Я только хотел.

Пройдет несколько лет, и я превращусь в человека, «который хотел». И Нина уже не скажет, что я тонкая натура, а скажет, что я неудачник.

— Ты что собираешься завтра делать?

— Ломать всю свою жизнь.

Нина было засмеялась, но вдруг покраснела, опустила голову, быстро понесла из комнаты чашки. Наверное, подумала, что завтра я собираюсь сделать ей предложение.

УЖ КАК ПАЛ ТУМАН...

— Челку поправь! — приказала Ирка.

— Как? — виновато поинтересовалась Наташа.

— Как, как, господи! — расстроилась Ирка, вытерла руки о фартучек и задвигалась вокруг Наташи. Двигалась она легко, прикосновения у нее были легкие, и пахло от нее французскими духами.

Ирка обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Ничего особенного, но что-то есть». У Ирки было все: она работала в Москонцерте, в нее были влюблены все чтецы и певцы, ездила за границу — то за одну, то за другую. Собиралась замуж — у нее были наготове три или четыре жениха.

Наташа обладала тем типом внешности, о котором говорят: «Вроде все хорошо, но чего-то не хватает». То, что все хорошо, считала Наташина мама и еще несколько доброжелательных людей, остальная часть человечества придерживалась мнения, что чего-то не хватает. Со временем доброжелательные люди примкнули к остальной части человечества, верной осталась только мама. Она говорила: «У тебя, Наташа, замечательные волосы, к тебе просто надо привыкнуть».

— Сиди прямо! — приказала Ирка.

Она вышла из кухни, потом вернулась с французскими духами. Ирка не жалела для Наташи ни духов, ни одного из своих женихов, но это никогда ничем не кончалось. Певцы пели песни советских композиторов, чтецы читали: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..» Фокусники показывали фокусы со спичками.

Не веря больше в эстрадный жанр, Ирка раздобыла где-то настоящего мужчину, который плавал в Баб-эль-Мандебском проливе и ходил с ружьем на медведя.

— Щас я тебя пофурыкаю, — предупредила Ирка.

— Не надо...

— Понимала бы! — Ирка заскакала вокруг Наташи, опрыскивая ее из пульверизатора.

— Не надо. — Наташе жаль было духов, которые назывались «Chat noir», что в переводе означает: «Черная кошка». — Все равно ничего не получится.

— Неизвестно, — возразила Ирка. — Он строит ГЭС, не помню какую, в труднейших условиях. Строитель лучшей жизни. Про таких Пахмутова песни пишет, а он к нам живой придет.

— Может, не придет? — с надеждой спросила Наташа.

В это время позвонили в дверь.

Наташа вздрогнула и посмотрела на Ирку, Ирка — на Наташу, выражение лиц у обеих на мгновение стало бессмысленным. Потом Ирка метнулась в прихожую, и оттуда послышались голоса.

Наташа сидела на низкой табуретке посреди кухни и не знала, что делать.

Она окончила консерваторию, умела петь с листа и писать с голоса, могла услышать любой самый низкий звук в любом аккорде. А здесь, на Иркиной кухне, она чувствовала, что это никому не надо и она не в состоянии поменять все то, что она может, на то, чего не может.

Наконец отворилась дверь и вошел настоящий мужчина, строитель лучшей жизни.

Наташа успела заметить, что рубашка у него белая и некрахмальная, лежит мягко... Волосы русые, растут просто, а лицо неподвижно, будто замерзло, и на нем замерзло обиженное выражение.

— Знакомьтесь, — сказала Ирка.

— Толя, — строитель протянул руку.

— Наташа, — она пожала его жесткие пальцы и посмотрела на Ирку.

— Садитесь, — непринужденно руководила Ирка.

Толя сел и прочно замолчал. Иногда он поднимал глаза на стену, а со стены переводил на потолок.

— Скажите, — начала Ирка, — вы действительно плавали в Баб-эль-Мандебском проливе?

— Ну, плавал, — не сразу ответил Толя.

— А как, как, как? — обрадовалась Ирка.

Толя очень долго молчал, потом сказал:

— В скафандре.

— А зачем? — тихо удивилась Наташа.

— А надо было... — недовольно сказал Толя.

— И на медведя ходили? — Ирка не давала беседе обмелеть.

— Ну, ходил...

— А как вы ходили?

Ирке надо было подтвердить, что в ее доме настоящий мужчина.

— С ружьем, — сказал Толя.

— Страшно было? — тихо поинтересовалась Наташа.

— Не помню. Я давно ходил.

Ирка тем временем подала кофе.

— Я коньяк принес, — сказал строитель, — на лестнице поставил.

— Почему на лестнице? — Ирка подняла брови.

— Не знаю, — сказал строитель, и Наташа поняла, что он постеснялся.

Ирка вышла на лестничную площадку и увидела возле своей двери бутылку.

— Могли стащить, — объяснила она, вернувшись.

— Ага... — беспечно сказал строитель.

— А вы есть хотите? — тихо спросила Наташа.

— Ужас! — сказал Толя, и всем стало весело.

Когда половина бутылки была выпита, Толя первый раз посмотрел на Наташу и сказал:

— Вчера попал в одну компанию, там такая девочка была... И парень с ней в кожаных штанах. Вам бы он не понравился.

— Почему? — спросила Наташа.

— Потому что вы серьезная.

«Как раз понравился бы», — подумала Наташа, но ничего не сказала.

— Ну, ну... — Ирка обрадовалась, что Толя заговорил.

— Он пижонить начал, говорит: в каждом человеке девяносто процентов этого... Ну, сами понимаете.

— Чего? — не поняла Ирка.

— Дерьма. А я ему говорю: «Ты не распространяй свое содержание на других».

Толя замолчал. Наташа поняла, что он обижен и переживает.

— Не обращайте внимания, — сказала она.

— Да вообще-то, конечно, — согласился Толя.

— Вы где живете?

— Нигде.

— Как это «нигде»?

— Очень просто. Плаваю — и все.

— А дом-то у вас есть?

СОДЕРЖАНИЕ

День без вранья 5
Уж как пал туман... 26
Будет другое лето 34
Инструктор по плаванию 45
Зануда 64
Рарака 74
Хорошая слышимость 94
Пираты в далеких морях 106
Плохое настроение 134
Когда стало немножко теплее 145
Тайна Земли 158
Счастливый конец 172
Шла собака по роялю 178
Летающие качели 190
Один кубик надежды 197
Глубокие родственники 207
Японский зонтик 214
Стечение обстоятельств 219
УПК 231
Самый счастливый день (Рассказ акселератки) 239
Центр памяти 248
Коррида 265
Кошка на дороге 285
Дом генерала Куропаткина 294
Сказать — не сказать... 309
Не сотвори 333
Почем килограмм славы 355
Мой мастер 379
Римские каникулы 392
Инфузория-туфелька 428

Полосатый надувной матрас 455
Рождественский рассказ 466
Система собак 473
Лиловый костюм 498
Антон, надень ботинки! 526
Уик-энд 553
Перелом 566
Розовые розы 594
Портрет в интерьере 616